

Владимир Порудоминский

Однажды, давным-давно, я случайно забрёл в Еврейский театр. Моей спутницей была озорная девица, к "избранному народу" отношения не имевшая. Мы долго таскались по зимнему городу в поисках какого-нибудь пристанища, отчаянно замёрзли, ткнулись в кино – не попали, а на Малой Бронной, где помещался театр, у плохо освещённого подъезда никто не спрашивал лишнего билета.

– Пошли в Еврейский театр? – увидев щит с афишей, предложила девица и залилась хохотом. Она выговаривала на южный лад: "еврэйский".

У нас было в тот вечер беззаботно весёлое настроение, какое бывает у молодых влюблённых, не обременённых серьёзными видами на будущее, когда ничего ещё не случилось, но кое-что уже впереди.

– Нет, я серьёзно! – мило гримасничая, звенела девица. – Пошли в еврейский театр!

– Дура! – сказал я, глупо улыбаясь. – Там же спектакли на еврейском языке.

– Но в буфете-то они понимают по-русски? Или тоже по-еврейски только? Ну как будет по-еврейски два стакана чая и два эклера? Эх ты, еврей называется! Своего языка не знаешь. А пиво? Пиво по-еврейски – как будет?

– Ладно, – сказал я. – Разберёмся.

И мы весело направились к кассе, около которой никого не было.

ПЬЕСА БЫЛА РАСЧЁТЛИВО-ФАЛЬШИВАЯ, убогая по замыслу и по воплощению. События разворачивались во время войны в русско-белорусском партизанском отряде, к которому прибилась несколько евреев, спасшихся от верной гибели в оккупированном немцами городе или местечке. Дело не в числе, конечно: в шекспировском "Короле Лире", постановкой которого театр снискал мировую славу, евреев среди действующих лиц вовсе нет. Дело в убогой фальши пьесы, отводившей евреям официально предназначенное им место в недавно закончившейся большой войне.

Да и сама фальшь была скроена на скорую руку, и представляла её плохо, безлико и скучно. Артисты (и великий Зускин между ними – бедный Зускин: до ареста, тюремных мук и уничтожения ему оставалось несколько месяцев всего!) неинтересно двигались по сцене, неодоухотворённо произносили что-то, – мы с моей спутницей очень веселились. Большинство персонажей пьесы, русские и белорусские партизаны (артисты вдобавок всячески старались показать, что изображают именно неевреев), вели диалоги на идиш: сочетание славянских имён, русских

прощание с ГОСЕТом

Книги, посвящённые театру, окажутся в спецхране, но они уцелеют.

Эскизы декораций сожгут, но они не сгорят



Лир – С. Михозлс. Рис. Д. Тышлера. 1942.

словечек в тексте, "мужицких" ухваток, с которыми они произносились, и еврейской речи, говора, интонаций – в самом деле было очень смешно...

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ того вечера, когда я последний раз в жизни оказался в ГОСЕТе (так именовали государственный еврейский театр), тесная, негромкая очередь растянулась на отгороженной сугробами узкой полосе тротуара вдоль Малой Бронной и за угол, по Большой, то ненадолго приостанавливаясь, то вдруг рывком решительно продвигаясь вперёд, она неудержимо двигалась к теат-

ральному подъезду. Притоптывая замёрзшими ногами, я жался в плотной толпе. В воздухе сгушались синие морозные сумерки, мелкий снег нёсся нам в лицо мимо протянутых над улицей блеклых, как бельма, фонарей. Люди в толпе были озабочены и молчаливы, если говорили, то мало и тихо, – вряд ли многие прочитали в случившемся знак переломившегося времени, но ощущение неведомого и недоброго неотвратимо повисло над нами. Понадобилось, наверно, не меньше часа-полтора, чтобы перешагнуть наконец порог театра и мимо задрёнутых занавесочкой безжизненно-тём-



С. Михозлс – "Тевье-молочник". 1937.

ных окошек кассы, мимо неподвижных милиционеров, всё в том же порядке, перестраиваясь по двое, по трое, торопливо направиться к белой парадной лестнице.

После продуваемой студёным ветром улицы остро почувствовалась жаркая духота помещения, заполненного особенным неотвязчивым запахом, который обретают цветы, становясь погребальной принадлежностью. И, высвобождаясь из-под горы пышных белых и багровых роз и гвоздик, возник передо мной неповторимо выточенный рукой Всевышнего профиль – будто замкнувший в себе какой-то особый замысел профиль библейского царя или пророка и вместе исполненный живой мысли и дерзости профиль бадхена, свадебного скомороха, умеющего в один и тот же момент смеяться одной стороной лица и плакать другой.

– А где Козловский? Покажи, где Козловский, – раздавался за моей спиной настойчивый женский шёпот.

– Да вон же, вон, в головах, высокий, с платочком в кармане.

– Ах, это и есть Козловский? А тот, маленький, с ним рядом?

Нас снова вынесло на морозную улицу. За дверями толпа, прежде сбиваясь в очередь, становилась реже; проходя в себя, я отшагал на свободе полсотни метров и остановился закурить. На улице было уже совсем темно. Снег больше не шёл. Небо тянулось над улицей ясной чёрно-синей полосой. Высокие сугробы красиво белели, искрясь под светом фонарей. Недавно я прочитал в чьих-то воспоминаниях, будто в тот вечер прощания с Михозлсом возле театра, чуть ли не на крыше соседнего дома, неведомый скрипач исполнял печальные еврейские мелодии. Признаюсь, не верится – очень уж противоречит обстоятельствам места и времени. Наверное, миф пополнился позднейшей подробностью: музыкл "Скрипач на крыше" появится лишь спустя полтора десятилетия.

А может быть, и, правда, был скрипач, только я его не видел?